

Марина Можейко

**ПОСТМОДЕРНИСТСКОЕ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ
ФЕНОМЕНА КНИГИ:
ВНЕГУТЕНБЕРГОВСКОЕ БЫТИЕ КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ**

Автор центрирует свой интерес на переосмыслении феномена книги в современной постмодернистской культуре. Анализирует предпосылки этого переосмысления, и в первую очередь – постмодернистскую номадологическую концепцию. Показывает, что текст рассматривается в постмодернистской культуре как принципиально плюральное пространство смыслопорождения в рамках последовательного семантического ветвления (бифуркаций). Основной акцент сделан на проблеме читателя как носителя культурных кодов и источников смысла текста.

M. Mojeiko

The author centers her interest in rethinking of the phenomenon of the book in the contemporary postmodern culture. Article examines the backgrounds of this rethinking, and in the first place – the postmodern theory of nomadology. The author shows that the postmodern culture consider the text as a fundamentally plural space of the generation of sense, unfolding within a coherent semantic branching (bifurcations).

The main emphasis in the article is made on the problem of the reader as a carrier of cultural codes and sources of meaning of text.

Важнейшей презумпцией постмодернистского видения мира, наряду с презумпцией его хаотичности, выступает презумпция его семиотической (прежде всего – языковой) артикулированности. Трактовка мира как текста, в сущности, традиционна для европейской культуры (например, неоплатоническая модель мира или средневековая интерпретация бытия как книги божественных смыслов), однако классическая культура всегда разделяла так называемое объективное содержание текста и объект как таковой.

В постмодернизме же на смену классическому требованию определенности значения, жесткой соотнесенности его с конкретным денотатом приходит программная открытость значения или, по Ж. Бодрийяру, отказ от «эквивалентностей» [14, с. 36]. Бесконечность пересекающихся значений знака, детерминированная бесконечностью его культурных интерпретаций, практически растворяет десигнат в плюрализме его трактовок. Шекспировскому «Что имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови, хоть нет...» противостоит в современной культуре причудливый арабеск порожденных различными традициями, но в контексте микшированной культуры постмодерна наложенных друг на друга значений: роза как радость, жизнь, тайна, тишина, любовь, смерть, воскресение, красота, слава, гордость, молитва, победа, мученичество, пышность, солнце, мужество, женственность, Венера, дева Мария, число 5, Христос, св. Георгий, творческий порыв, девственность, чувственная страсть, христианская церковь, земная жизнь, гармония мироздания и мн. др. [42]. Принятие тех или иных значений задает принадлежность человека к культурной традиции и делает соответствующий объект определенным образом значимым – знание же всех возможных значений в культуре постмодерна растворяет определенность семантики, вплоть до открывающейся в слове возможности означать все, что угодно (что, например, позволяет У. Эко назвать свой роман «именем розы»).

Ж. Бодрийяр постулирует победу «логики уничтожения собственного референта, логики поглощения значения» [13, с. 67]: стоящее за словом понятие утрачивает денотат как онтологический гарант семантической определенности, – десигнат как идеальный конструкт остается его единственным и весьма условным референтом. Внеязыковое бытие не конституируется в рамках постмодернистской картины мира, где семиозис понимается как

единственная форма существования любого феномена, включая и самого субъекта. В данном аспекте философия постмодернизма во многом опирается на идеи структурного психоанализа, в первую очередь – концепции Ж. Лакана, в рамках которой зафиксирован факт вербальной артикуляции любой формы бессознательного, понимаемого в классическом психоанализе как последний оплот суверенности. В этом контексте субъект характеризуется Ж. Лаканом как «децентрированный», растворенный в формах языкового порядка [34; 67; 68; 69]. Рациональный субъект декартовского типа, равно как и вожделеющий субъект типа фрейдистского, сменяются деперсонифицированным инструментом презентации культурных смыслов («означающих») языка.

Из этого вытекает признание тотальности языка – понимание языковой реальности как единственной и исчерпывающей самодостаточной, т. е. не нуждающейся во внеязыковом гаранте. Постмодернизм развивает заложенную модернизмом идею «крушения реальности» (уже Э. Ионеско писал: «Слова превращаются в звучащую оболочку, лишенную смысла» [32, с. 137]). По Р. Барту, «язык – это область, которой ничто не внеположено» [7, с. 522]. Аналогично у Ж. Деррида: «Абсолютное наличие» есть «то, что мы прочли в тексте», и «ничто не существует вне текста» [56; 57; 58]. При таком подходе культурная универсалия бытия фактически совпадает с универсалией текста. Ф. Джеймисон говорит о «фундаментальной мутации самого предметного мира, ставшего сегодня набором текстов» [29, с. 124]. Согласно Ж.-Ф. Лиотару, постмодернизм зиждется на отказе от самой идеи автохтонности объекта [36, с. 158]. Бытие предстает как процессуальность плюральных игр означающего: презумпция квазисемиотизма превращает культуру постмодерна из «зеркала мира» в «зеркало зеркал» (Дж. Уард, Д. Харвей) [63, с. 336–338; 82, с. 155–185], где место реальности занимают «знаковая реальность» (Б. Смарт [78, с. 150]), «вербальная реальность» (Р. Виллиамс [84, с. 31–32]), «гипер-реальность» (Д. Лион [70, с. 16]). В этом вторичном зеркале, заданном языком, значимыми, по оценке С. Беста, Д. Келлнера, Д. Лиона и др., являются не объективные реалии, но претендующие на статус таковых интенции сознания к самовыражению [52, с. 114–115; 70, с. 16]. Самая кажущаяся непосредственность объекта оказывается сугубо вторичным конструктом, базирующимся на системе избранных аксиологических шкал и культурных приоритетов: по оценке М. Мерло-Понти, объект возможен лишь в результате семиотического усилия субъекта [73, с. 178–196]. По формулировке Р. Барта, сознание является

ся не «неким первородным отпечатком мира, а самым настоящим строительством такого мира» [10, с. 255]. Эта установка может быть зафиксирована как на сугубо концептуальном уровне постмодернизма (для Ж. Деррида «система категорий – это система способов конструирования бытия» [58, с. 91]), так и на уровне художественной практики постмодернистского искусства (эпиграф к классическому постмодернистскому произведению – книге Р. Федермана «Прими или брось: раздутая подержанная история для чтения вслух стоя или сидя» – гласит: «Все персонажи и места действия в этой книге реальны: они сделаны из слов» [60]). В этом контексте Б. Смарт оценивает когнитивную стратегию постмодернизма как переориентацию с «рассудка» как самодостаточной и абсолютной ценности к конструктивному «воображению» [78; 79]. Даже в социологически ориентированных концепциях постмодернизма (З. Бауман, С. Бест, Ж. Бодрийяр, Дж. Ваттимо, Р. Вильямс, Д. Келлер, Д. Лион, Б. Смарт) обнаруживаются программный отказ от идеи реальности и исключение соответствующего понятия из концептуальных контекстов [50, с. 18–22; 51, с. VII, 83, с. 103–104; 84, с. 31–32]: история артикулируется как история языка [19].

Таким образом, стратегия мировосприятия постмодернизма, получившая название «постмодернистской чувствительности», базируется на таких фундаментальных презумпциях, как презумпция отказа от смысла в качестве наличного (презумпция «усмотрения хаоса» и толкования последнего в качестве смыслопорождающего) и презумпция отказа от идеи референции (презумпция принципиальной семиотичности данной человеку реальности).

В таких условиях «уничтожение последних следов веры в референциальность» оценивается Р. Сальдиваром как единственно возможный «путь к истине» [77, с. 253]. Идя по этому пути, постмодернизм, по словам Р. Барта, бросает «вызов самому символическому» [49, с. 614–615]. Как пишет Р. Барт, «ныне семиология призвана выступать ... против всей символико-семантической системы нашей цивилизации; ...расщепить саму систему смысла» [8, с. 82–83]. И если исходно постмодернизм определял свою задачу как необходимость «опустошить знак» [81, с. 4], то ныне он пытается смоделировать «логические последствия нерепрезентативного понимания письма» [12, с. 400].

Такой поворот мысли заставляет культуру постмодерна сдвинуть акценты с понятия *книги* на понятия *письма* и *текста*, что порождает серьезные последствия в трактовке самого феномена книги как такового.

1. Книга и текст: парадигма постмодернистской номадологии

Важнейшим философским проектом постмодернизма, позволяющим интерпретировать последний в качестве того проблемного поля современной культуры, где отрабатывается гуманитарная версия концепции нелинейных динамик, является номадологический проект. В узком смысле это модельная концепция, предложенная Ж. Делезом и Ф. Гваттари, в широком – фундаментальная для постмодернизма установка на отказ от характерных для классической метафизики презумпций, а именно: 1) презумпции жестко структурной организации бытия; 2) полагания пространства в качестве дискретно дифференцированного посредством семантически и аксиологически определяющих точек (прежде всего, центра); 3) понимания детерминизма как принудительной каузальности (причинения); 4) выделения фундаментальных оппозиций внешнего – внутреннего, прошлого – будущего и т. п.; 5) полагания смысла в качестве имманентного миру (объекту) и раскрывающегося субъекту в когнитивных процедурах.

Связывая этот способ мирообъяснения с традицией западной классики, постмодернизм постулирует содержательную исчерпанность его интерпретационного потенциала, выдвигая на смену ему номадологическую (от *nomad* – кочевник) модель мировидения. По Ж. Делезу и Ф. Гваттари, современность демонстрирует отчетливо выраженную «потребность в номадизме» [25, с. 29]. В противоположность метафизической традиции номадология задает видение мира, опирающееся на радикально альтернативные презумпции: 1) рассмотрение предметности в качестве аструктурной; 2) трактовка пространства как децентрированного и открытого для территориализации; 3) новое понимание детерминизма, основанное на идее принципиальной случайности сингулярного события; 4) снятие самой возможности выделения оппозиций внешнего и внутреннего, прошлого и будущего и т. п.; 5) приданье феномену смысла проблематичного статуса.

Номадологический проект фундирован отказом от презумпции константной гештальтной организации бытия, и это находит свое выражение в конституировании постмодернизмом понятия «ризома» взамен традиционной категории «структура».

Под ризомой (фр. *rhizome* – корневище) понимается принципиально аструктурный и нелинейный способ организации целостности, оставляющий возможность для ее имманентной подвижности, т. е. реализации креативного потенциала самоконфигурирования

[37]. В отличие от фундаментальной для классической европейской культуры метафоры «корня» как предполагающего жестко фиксированную конфигурацию и генетическую (осевую) структуру, культура постмодерна, по оценке Ж. Делеза и Ф. Гваттари, фундирована метафорой «корешка», т. е. «корневища-луковицы» как «скрытого стебля», который может прорости в каком угодно направлении, или сети «корневых волосков», потенциально возможные переплетения которых невозможно предусмотреть [25, с. 11]. Ризома принципиально процессуальна, она «не начинается и не завершается. Она всегда в середине...» [25, с. 30].

Ризома «включает в себя линии членения, по которым она стратифицирована, территориализована, организована», однако они постоянно подвижны и предполагают своего рода «разрывы» как переходы в состояние, характеризующееся отсутствием жесткой стратификации [25, с. 14–15]. Бытие ризомы реализуется в последовательно сменяющихся виртуальных структурах: «оса и орхидея образуют ризому, будучи гетерогенными. ...Подлинное становление, превращение осы в орхидею, превращение орхидей в осу, ...оба вида становления следуют друг за другом и сменяют друг друга» [25, с. 15]. Пульсации ризоморфной среды от одного варианта стратификации – к другому (и от стратификации – к ускользанию от таковой) аналогичны пульсациям самоорганизующейся среды от хаотических состояний к состояниям, характеризующимся наличием макроструктур.

Номадологически артикулированные идеи могут быть обнаружены не только у Ж. Делеза и Ф. Гваттари. По Р. Барту, процессуальность письма не результируется в тексте [8, с. 80]. Аналогична «структурная невозможность закрыть ...сеть, фиксировать ее плетение» у Ж. Деррида [27, с. 69]. Это позволяет заключить, что эксплицитно выраженные номадологией презумпции являются базисными для философии постмодернизма.

Номадология предполагает в этом контексте и принципиально новое понимание организации пространства. Используя типичные для соответствующих культур игры как выражающие характерные для них способы членения пространства, Ж. Делез и Ф. Гваттари противопоставляют шахматы, с одной стороны, и игру кочевников (го) – с другой. Шахматы предполагают кодирование пространства (организацию четко очерченного поля игральной доски в качестве «системы мест») и жесткую определенность соответствий между константно значимыми фигурами и их позициями – точками размещения в замкнутом пространстве. В противоположность

этому, то предполагает внекодовую территориализацию и детерриториализацию пространства, т. е. рассеивание качественно не-дифференцированных фишек на незамкнутой поверхности (броски камешков на песке придают в каждый момент времени ситуативное значение фигурам и ситуативную определенность конфигурации пространства). Такое рассеяние естьnomadicеское распределение сингулярностей, которые «обладают подвижностью, имманентной способностью самовоссоединения», радикально отличающейся «от фиксированных и оседлых распределений» [23, с. 131]. Пространственная среда предстает как «недифференцированная»: «мир, кишащий nomadicескими [кочевыми] ...сингулярностями» [23, с. 131].

Топологически это означает, что в рамках nomadicеского проекта организация пространства артикулирована принципиально нетрадиционно. Прежде всего это касается его видения в качестве плоскости: «поверхность – это местоположение смысла: знаки остаются бессмысленными до тех пор, пока они не входят в поверхностную организацию» [23, с. 132–133]. Элиминация идеи корня приводит nomadологию к отказу от идеи глубины: «сингулярности, или потенциалы, блуждают по поверхности» [23, с. 131]. «Истинное рождение, возникновение подлинно нового случается именно на поверхности» в отличие от преформистской реализации исходного и, следовательно, принципиально не нового проекта (например, развития организма, который «всегда сосредоточен во внутреннем пространстве и распространяется во внешнее... ассимилируя и воплощаясь» [23, с. 131–132]). Для подобных организмам систем характерно наличие генетической (эволюционной) оси как линейного вектора развития: «генетическая ось – как объективное стержневое единство, из которого выходят последующие стадии; глубинная структура подобия» [25, с. 17]. В противоположность этому «ризома антигеноалогична» [25, с. 27]: она «осуществляется в другом (принципиально не осевом, т. е. не линейном. – M.M.) измерении, преобразовательном и субъективном» [25, с. 17], и «не подчиняется никакой структурной или порождающей модели», «чуждается самой мысли о генетической оси как глубинной структуре» [25, с. 17]. Поверхность выступает как зона взаимодействия системы с внешней средой: как пишет Ж. Делез, «мембранны ...приводят в соприкосновение внутреннее и внешнее пространство вне зависимости от расстояния между ними» [23, с. 132]. И если синергетика фиксирует постоянный энергообмен системы со средой в качестве необходимого условия самоорганизации, то и в nomadологии взаимодействие со средой выступает условием пространственного

конфигурирования ризомы: «мембранны ...удерживают полярности. ...Кожа обладает неким жизненным и собственно поверхностным потенциалом энергии» [23, с. 132].

Важнейшей презумпцией номадологии, особенно значимой в контексте сопоставления синергетики и постмодернизма, является презумпция отсутствия центра, базирующаяся на радикальной критике классической традиции. Как пишет Ж. Деррида, «регулярным образом центр получал различные формы и названия. История метафизики, как и история Запада, является историей этих метафор и метонимий... Все эти названия связаны с фундаментальными понятиями, с первоначалами или с центром, ... – эйдос, архэ, телос, энергейя, усия (сущность, субстанция, субъект), алетейя, трансцендентальность, сознание или совесть, Бог, человек...» [57, с. 325]. По оценке постмодернизма, «мы (носители западного типа рациональности. – М.М.) ищем центральную комнату в страхе, что таковой нет» [24, с. 250–251]. При номадической организации среды «центральная комната ... остается пустой, хотя человек заселяет ее» [24, с. 252]. Интересен в этом отношении «новый дискурс среды» Ж. Бодрийара. Анализируя новый тип организации жилой среды, он отмечает, что «предметы обстановки сделались подвижными элементами в децентрализованном пространстве» [15, с. 32]. Если в классическом интерьере стол фиксировал центр, доминирующий над остальным пространством, то теперь «стулья уже не тяготеют к столу» [15, с. 37]. В децентризованном пространстве теряется избранность точек: оно перестает восприниматься как «система мест»: «нет больше кроватей, на которых лежат, нет больше стульев, на которых сидят, есть лишь “функциональные” сидения, вольно синтезирующие всевозможные позы (...и всевозможные отношения между щельми)» [15, с. 37].

Идея децентрированности проявляется в постмодернизме в самом широком диапазоне: от презумпции децентрированности текста до радикального требования «заклеймить идеологические и метафизические модели» (Ф. Джеймисон [29, с. 125]). Классическим примером, демонстрирующим эту установку, может служить постмодернистская концепция культуры как принципиально ацентричной. Согласно Ж.-Ф. Лиотару, в постмодернистской культуре «все прежние центры притяжения, образуемые национальными государствами, партиями, профессиями, институциями и историческими традициями, теряют свою силу» [36, с. 144–145]. В силу этого, по Р. Рорти, из актуализирующихся в постмодернистском социуме стратегий «ни одна ...не обладает привилегиями перед

другими» [76]. Ацентричность культурного пространства постмодерна носит программный характер: как утверждал Л. Фидлер в опубликованной в первой редакции «Playboy» статье, нет и не может быть ни элитарной, ни массовой культуры как таковых [43]. В данном аспекте концепция «заката метанарраций»озвучна концепции цивилизационного поворота, фундированной презумпцией полипцентризма.

Постмодернизм интерпретирует пространственные среды как лишенные не только центра, но и любых приоритетных осей и точек: «власть без трона» [44, с. 191] у М. Фуко «находится *везде*» и «исходит отовсюду» [61]. Истолкованию предметности как дисперсной соответствует в постмодернизме и истолкование движения как рассеивания: по Ж. Делезу, его осуществление «подобно тому, как семенная коробочка выпускает свои споры» [23, с. 201]. Аналогичен по своей семантике и ключевой термин «диссеминация» у Ж. Деррида [55]. По оценке Ж. Делеза и Ф. Гваттари, «оседлая» (западная) культура, в отличие от кочевой, основана на понимании движения по осевому вектору, для которого топологически внешнее выступает аксиологически внешним, коим можно без семантических потерь пренебречь, – в отличие от номадического понимания движения как дисперсного рассеивания, имманентно осуществляющего интеграцию внешнего: «мы пишем историю ... с точки зрения человека, ведущего оседлый образ жизни... История никогда не понимала кочевников, книга никогда не понимала внешнее (подчеркнуто нами. – М.М.)» [25, с. 29–30].

Принятие идеи центра фактически означает и принятие идеи внешней принудительной каузальности, т. е. линейного детерминизма. Как пишет Ж. Деррида, «считалось, что центр ... представляет собой в структуре именно то, что управляет этой структурой», и на протяжении всей истории метафизики «функцией этого центра было ... гарантировать, чтобы организующий принцип структуры ограничивал то, что мы можем назвать свободной игрой структуры» [57]. В этом контексте феномен центра метафорически фиксируется номадологией в семантической фигуре «Генерала». И если для классической философии были традиционны «иерархические системы, которые включают в себя центры значения и субъективации» [25, с. 22], то ризома, «противопоставленная центрированным системам», является собой «не центрированную, не иерархическую ... систему без Генерала, ... без центрального автомата» [25, с. 28].

Вместе с тем идея децентрированности среды имеет фундаментальный статус и для синергетики. Собственно, синергетические

системы тем и отличаются от кибернетических, что в рамках последних порядок устанавливается в результате соответствующих команд центра, в то время как в синергетических системах он возникает в результате автохтонной кооперации микроэлементов: И. Пригожин и И. Стенгерс интерпретируют синергетические процессы как объективные, т. е. реализующиеся вне конкретного плана, эксплицитно выведенного на глобальный командный уровень системы [38, с. 268]. Точно так же интерпретация ризомы в качестве децентрированной среды оборачивается ее трактовкой как обладающей креативным потенциалом самоорганизации: «rizoma может быть разорвана, изломана..., перестроиться на другую линию» [25, с. 15]. Источником трансформаций выступает в данном случае не причинение извне, но имманентная ион-финальность системы, которая «ни стабильная, ни не стабильная, а, скорее, «метастабильна» и «наделена потенциальной энергией» [23, с. 131]. Таким образом, понятие «метастабильности» в номадологии типологически соответствует понятию «неустойчивости» в синергетике, фиксируя процессуальность бытия системы и ее креативный потенциал самоорганизации, варьирования пространственных конфигураций.

Ни один из плуральных вариантов определенности ризомы не может быть аксиологически выделен как предпочтительный (автохтонный в онтологическом или правильный в интерпретационном смыслах): «любая точка ризомы может и должна быть связана со всякой другой» [25, с. 12]. Объективация этих возможностей образует подвижную картину самоорганизации ризомы, конституируя между ее составляющими («сингулярностями») временно актуальные соотношения – «плато» [25, с. 28]. Сингулярности не только «способны к само-воссоединению» [23, с. 131], но пребывание в поле «номадологического распределения» заставляет их «коммуницировать между собой» [23, с. 102], при непременном условии взаимодействия с внешней по отношению к ризоме средой (плоскость как зона соприкосновения). Плато ризомы выступают в качестве типологического аналога диссипативных структур: они так же плуральны и релятивны, так же имеют преходящий характер, так же порождаются имманентной нестабильностью системы (rizомы), так же возникают посредством кооперирования («коммуницирования») составляющих последней (сингулярностей).

Более того, конкретным инспирирующим поводом формирования диссипативного плато выступает в номадологии так называемый «парадоксальный элемент», практически воплощающий собой случайность (флуктуацию) как таковую [23, с. 131], он же

задает своего рода точки версификации в процессе самоорганизации ризоморфных сред, заставляя сингулярности «резонировать, коммуницировать и разветвляться (подчеркнуто нами. – М.М.)» [23, с. 78]. Существенным моментом процессуальности ризомы является принципиальная непредсказуемость ее будущих состояний: «это множественность ...но мы пока не знаем, что она влечет за собой, когда ...обретет субстантивный характер» [25, с. 9]. «Парадоксальный элемент» потому и парадоксален, что выходит за границы знания (доксы), очерчивающей проективно рассматриваемое пространство трансформаций.

2. Книга на полке и текст в сознании: постмодернизм о феномене смыслопорождения в процедурах письма и чтения

Отказ от идеи референции (концепция «пустого знака») и презумпция «заката больших нарратаций» в своем сочетании выступают парадигмальным основанием постмодернистской концепции текстовой семантики.

Согласно концепции «означивания», предложенной Ю. Кристевой и универсально принятой постмодернизмом, смысл обретается текстом, не являясь исходно ни заданным, ни данным. На передний план выдвигается не *signification* («значение») как отношение означающего к означаемому, но *significance* («означивание») как движение в сфере означающего [66, с. 271]. Как отмечает Дж. Х. Миллер, становление текстовой семантики «никогда не бывает объективным процессом обнаружения смысла, но вкладыванием смысла в текст, который сам по себе не имеет никакого смысла» [74, с. 12]. По Ж. Делезу, смысл «производится: он никогда не изначален» [23, с. 122]; по Р. Барту – семантическое бытие текста «есть становление» [4]. Письмо мыслится постмодернизмом в качестве процессуальности, не результирующейся в константном (завершенном) тексте: «писать» – это, по Р. Барту, «непереходный глагол» [1]. Аналогично интерпретация текста в процедурах чтения выступает в концепции Ж. Делеза и Ф. Гваттари как нон-финальная экспериментация. В свете этой презумпции текст – «это не совокупность ...знаков, наделенная смыслом, который можно восстановить, а пространство, где прочерчены линии смысловых сдвигов» [8, с. 81]. Собственно, европейская традиция философствования содержит весьма созвучные этой установке идеи, высказанные задолго до постмодернизма. Оформившаяся в контексте классической философии позиция И. Канта может, например, быть истолкована как последовательная и эксплицитно сформулированная версия интерпретации смысла

как созидаемого в субъективном усилии. В рамках неклассической философии Р. Ингарденом высказана мысль о виртуальном бытии художественного произведения как «множества возможностей» [31, с. 561], т. е. различных версий прочтения, каждая из которых выступает как его «актуализация» [30, с. 77–78]. А «Исток художественного творения» М. Хайдеггера непосредственно оценивается Ф. Джеймисоном как содержащий идею «смыслопорождения» [29, с. 122].

Презумпция отсутствия изначального смысла текста находит свое выражение в семантической фигуре «смерти Автора». В аксиологической системе постмодернизма Автор символизирует идею внешней принудительной каузальности, в ситуации которой линейный тип детерминизма предполагает и линейное объяснение явления через указание на его единственную и исчерпывающую причину, в качестве которой для текста выступает Автор. Постмодернизм отвергает классическую интерпретацию текста как «произведения» (произведенного Автором): «присвоить тексту Автора – это значит ...застопорить текст, наделить его окончательным значением, замкнуть письмо» [9]. В рамках данного подхода на смену понятию «автор» постмодернистская философия выдвигает понятие «скриптор» («пишущий» [6]). Последний, по формулировке Р. Барта, «рождается одновременно с текстом, и у него нет никакого бытия до и вне письма, он отнюдь не тот субъект, по отношению к которому его книга была бы предикатом (подчеркнуто нами. – М.М.)» [9, с. 387]. Письмо является собой «единственно возможное пространство, где может находиться субъект письма» [1, с. 90]. Фигура автора утрачивает свою психологическую артикуляцию и деперсонифицируется: по оценке Ю. Кристевой, автор становится «кодом, не-личностью, анонимом», и «стадия автора» – это в системе отсчета текста «стадия нуля, стадия отрицания и изъятия» [64]. Фактически автор есть не более чем носитель языка [9, с. 389]. Таким образом, «письмо есть изначально обезличенная деятельность» [9, с. 386]. По мысли М. Фуко, оно фундировано презумпцией «добровольного стирания: “маркер писателя теперь – это не более чем своеобразие его отсутствия”» [47, с. 14].

Важнейшим выводом из данной установки является идея о порождении смысла в акте чтения, понимаемого Ж. Деррида как «активная интерпретация», дающая «утверждение свободной игры мира без истины и начала» [57, с. 264]. В этом контексте Дж. Х. Миллером формулируется положение о Читателе как источнике смысла: «каждый читатель овладевает произведением... и налагает

на него определенную схему смысла» [74, с. 12]. Однако постмодернизм не завязывает процедуру смыслопорождения на фигуру Читателя в качестве ее субъекта, внешнего причиняющего начала (ибо в этом случае фигура Читателя была бы эквивалентна фигуре Автора). Тема «основополагающего субъекта», которому вменялось в обязанность «вздыхать жизнь в пустые формы языка», однозначно относится М. Фуко к философии традиционного плана [46, с. 76]. Постмодернизм же, по П. де Ману, утверждает «абсолютную независимость интерпретации от текста и текста от интерпретации» [71, с. 141]. По оценке Ж. Деррида, реально имеет место не интерпретационная деятельность субъекта, но «моменты самотолкования мысли» [26, с. 170]. В трактовке Т. Д'ана, Л. Перрон-Муазес и др. Автор, Читатель и Текст растворяются в едином вербально-дискурсивном пространстве [54, с. 227; 75, с. 383]. В аспекте генерации смысла как чтение, так и письмо – это, по Р. Барту, «не правда человека..., а правда языка» [8], «уже не «я», а сам язык действует, «перформирует» [9, с. 386].

По оценке Р.Барта, современная лингвистика показала, что «высказывание ...превосходно совершается само собой, так что нет нужды наполнять его личностным содержанием говорящих» [9]. Текст, по П. де Ману, «не продуцируется деятельностью сознания субъекта – автора или читателя», но является имманентной процессуальностью языка [71, с. 136]. Смысл трактуется в качестве не привнесенного субъектом, но автохтонного: он самопричинен, по Ж. Делезу, «в связи с имманентностью квази-причины» [23, с. 122].

Смыслопорождающее значение признавалось за самодвижением языка уже в сюрреализме (техника автоматического письма). Феномен аутотрансформации текста зафиксирован Э. Ионеско: «Текст преобразился перед моими глазами. Это произошло ...против моей воли. ...Предложения ...сами по себе пришли в движение: они испортились, извратились» [32, с. 136]. Самодвижения языка отмечено И. Бродским: поэт «есть средство существования языка. ...Язык ему подсказывает или просто диктует следующую строчку» [18, с. 17]. Аналогичные идеи высказаны в рамках неклассической философии: по Г.-Г. Гадамеру, «сознание индивида не есть мерка, по которой может быть измерено бытие языка» [21, с. 137]; Ж.-П. Сартр формулирует тезис о том, что язык есть «саморазвивающееся (подчеркнуто нами. – М.М.) безличное начало, действующее через и помимо человека, ...героем становится язык» [40, с. 108–109]. Р. Барт ссылается на идею Малларме о том, что «говорит не автор, а язык как таковой» [9, с. 385].

Способность производить «эффект смысла» М. Фуко признает за «структурами языка» [46, с. 76], обладающими, по Ю. Кристевой, «безличной продуктивностью», порождающей семантические вариации означивания [65]. Ю. Кристева вводит понятие «письма-чтения» как условия возникновения структуры, которая не «наличествует, но вырабатывается» [33]. Смыслогенез предстает, по Дж. В. Харрари, как самоорганизация текстовой «самопорождающейся продуктивности ...в перманентной метаморфозе» [62, с. 40].

Субстратом смыслопорождения выступает текстовая среда, понятая как хаотичная: аструктурная и децентрированная. По оценке Р. Сальдивара, «деконструкция не означает деструкции структуры... – это демонтаж старой структуры, предпринятый с целью показать, что ее претензии на безусловный приоритет являются всего лишь результатом человеческих усилий и, следовательно, могут быть подвергнуты пересмотру» [77, с. 150]. Таким образом, как пишет Дж.-И. Тадье, текст перманентно «деконструируется ради своего вечного порождения» [80, с. 224–225].

Деструктурированный текст принципиально нестабилен и характеризуется своего рода «взвешенностью между активностью и пассивностью», «взвихренностью», которая, как пишет Ж. Деррида, в принципе «не поддается упорядочению» [27, с. 48]. Это задает ту же ситуацию, что в синергетическом контексте задает феномен неравновесности: система чревата радикальными трансформациями (прежде всего – структурного плана). Так, концепт Ж. Деррида «разнесение» фиксирует именно генеративную природу текстовой организации: «грамма как разнесение... – это структура и движение», открывающее возможность «других текстовых конфигураций» [27, с. 47–48, 69–70]. Бытие текста реализуется в осцилляциях между версиями означивания, между смыслом и его деструкцией: как пишет А. Истхоуп, «любой текст отличается от самого себя» [59, с. 187–188]. В силу своей имманентной нестабильности текстовая среда интерпретируется постмодернизмом как непредсказуемая, всегда готовая породить то, что синергетика обозначает в качестве флуктуаций: Дж. Д. Аткинс отмечает самопроизвольный «момент, когда текст начнет отличаться от самого себя, выходя за пределы собственной системы ценностей, ...системы смысла» [48, с. 139].

«Смерть Автора» означает и «смерть произведения»: место книги занимает подвижная «конструкция» дискретных элементов. Классическим примером конструкции является текст Р. Федермана «Прими или брось: раздутая поддержанная история для чтения вслух стоя или сидя», представляющий собой набор отдельных не-

нумерованных листов, на многих из которых фрагменты текста разделены крестом из многократно набранной фамилии «Деррида» [60]. Аналогичны «стихи на карточках» Л. Рубинштейна, где, как он отмечает, «каждая карточка – это ...универсальная единица ритма... Пачка карточек – это... НЕ-книга, это детище “внегутенберговского” существования словесной культуры» [39].

Вариабельность структурная влечет за собой и вариабельность семантическую: по Р. Барту, «задача видится не в том, чтобы зарегистрировать некую устойчивую структуру, а скорее в том, чтобы произвести подвижную структурацию текста», «прослеживать пути смыслообразования» [11, с. 425]; Ж. Деррида также фиксирует «открывающиеся возможности полисемии»: «рассеивание... способно продуцировать не-конечное число семантических эффектов», высвобождая семантическую креативность текста, его «желание-сказать» [27, с. 80,81]. Самоорганизация текста генерирует конкретные версии смыслопорождения (преходящие плато смысла в процессуальности структурации).

Процессуальность текста эксплицитно интерпретируется постмодернизмом как принципиально нелинейная. Как пишет Ж. Деррида, «однолинейный текст, точечная позиция, операция, подписанная одним-единственным автором, по определению, не способны» [27, с. 74–75], т. е. не креативны. Р. Барт непосредственно использует такие термины, как «нелинейное письмо», «многомерное письмо», «многолинейность означающих» и т. п. [5, с. 417].

Согласно его модели, «текст представляет собой не линейную цепочку слов, выражающих единственный, как бы теологический смысл («сообщение» Автора-Бога), но многомерное пространство» [9, с. 388]. Метафорой текста становится в постмодернизме не линейный вектор, но сеть: произведение «отсылает к образу естественно разрастающегося, «развивающегося» организма... Метафора же Текста – сеть» [9].

3. «Сад расходящихся тропок»: теория бифуркаций и книга как «океан историй»

Смыслопорождение предполагает наличие особых точек семантического ветвления, т. е. версификации означивания, которые функционально изоморфны узлам бифуркационного веера: как пишет Р. Барт, «означающие могут неограниченно играть, ...производить несколько смыслов с помощью одного и того же слова» [3, с. 285]. Ж. Делез также отмечает, что смыслопорождение «дву направлено», т. е. «задает путь, по которому смысл следует и который он заставляет ветвиться» [23, с. 122]. Разрешение бифуркационно-

го выбора, т. е. механизм предпочтения того или иного варианта означивания, основан на фундаментально случайных моментах. М. Фуко пишет о «случайности дискурса» [46, с. 64–65], Т. Дан фиксирует соскальзывание смысла «с уровня коллективного и объективного»: он оказывается продуктом случайных вариаций перцепции и дискурса [54, с. 223].

В рамках такого подхода равно невозможны как конституирование финального смысла текста (онтологическая «неразрешимость» последнего, по Р. Барту), так и предвидение той версии означивания, которая будет актуализирована в том или ином случае (гносеологическая «неразрешимость» текста). Текстовая «неразрешимость» осмысливается постмодернизмом в том же ключе, что и невозможность невероятностного прогноза относительно нелинейных процессов в синергетике. Непредсказуемость процедур означивания связывается с автохтонными аспектами бытия текста, подобно тому, как непредсказуемость процедур самоорганизации хаотической среды интерпретируется синергетикой в качестве атрибутивной характеристики процесса, не связываясь с недостаточностью когнитивных средств субъекта. Так, Р. Барт пишет: «Неразрешимость – это не слабость, а структурное условие повествования: высказывание не может быть детерминировано одним голосом, одним смыслом – в высказывании присутствуют многие коды, многие голоса, и ни одному из них не отдано предпочтение. ... Рождается некий объем индетерминаций или сверхдетерминаций: этот объем и есть означивание» [11, с. 461].

Фигура ветвления – так же, как и в синергетике, обретает в постмодернизме фундаментальный статус («сеть» и «ветвящиеся расширения» ризомы у Ж. Делеза и Ф. Гваттари, «решетка» и «перекрестки бесконечности» у М. Фуко, смысловые перекрестки «выбора» у Р. Барта, «перекресток», «хиазм» и «развилка» у Ж. Деррида, «лабиринт» у У. Эко и Ж. Делеза и т. п.). Так, например, у Ж. Деррида: «все проходит через... хиазм... Форма хиазма, этого X, очень меня интересует, ... потому что тут имеет место ... род вилки, развилики (это серия, перекресток, carrefour от лат. quadrifurcum – двойная развилка, qrille – решетка, claire – плетенка, cle – ключ)» [27, с. 128]. И если в синергетике универсальное значение приобретает феномен вероятности, выражющий количественные характеристики бифуркационного перехода, то и постмодернизм фиксирует факт наличия этих количественных параметров: так, говоря о «хиазме», Ж. Деррида отмечает, что эта «развилка» является «вообще говоря, неравномерной, когда одно острье простирается дальше другого: фигура двойного жеста и пересечения» [27, с. 128].

Важнейшим источником формирования постмодернистской модели бифуркационного процесса выступает осмысление Х. Л. Борхесом пространства событийности как «сада расходящихся тропою», моделирующее фактически бифуркационный механизм разворачивания сюжета: «Фан владеет тайной; к нему стучится неизвестный; Фан решает его убить. Есть, видимо, несколько вероятных исходов: Фан может убить незваного гостя; гость может убить Фана; оба могут уцелеть; оба могут погибнуть, и так далее. ... В книге Цюй Пэна реализуются все эти исходы, и каждый из них дает начало новым развилкам» [16, с. 237]. Последовательное нанизывание бифуркационных ситуаций, каждая из которых разрешается принципиально случайным образом, задает вероятностный мир с непредсказуемыми вариантами будущего (в синергетике этот феномен зафиксирован как «каскад бифуркаций»): «в большинстве ... времен мы не существуем; в каких-то существуете вы, а я – нет; в других есть я, но нет вас; в иных существуем мы оба... Вечно разветвляясь, время идет к неисчислимым вариантам будущего» [16, с. 239–240].

Классическая мифология, нелинейный характер которой широко обсуждается в современной литературе [20; 22 и др.], также обращает на себя внимание постмодернизма. Ж. Деррида обращается в этом контексте к идеи Ж.-К. Вернана о том, что «миф вводит в игру логическую форму, которую, по контрасту с непротиворечивой логикой философов, можно назвать логикой двойственности, двусмысленности, полярности», – и в этом отношении «структурная модель логики, которая не была бы бинарной логикой «да» и «нет», отличающейся от логики логоса», с очевидностью выступает для современной культуры в качестве «недостающего инструмента» [28]. Именно в этом контексте Ж. Деррида переосмысливает понятие «хора», предложенное в свое время Платоном и введенное в постмодернистский оборот Ю. Кристевой: «речь о хоре ... обращается не к логосу..., но к некому гибридному, незаконнорожденному и даже развращенному рассуждению (*logismo pollo*)» [28, с. 125]. Собственно, по оценке Ж. Деррида, хора бросает вызов ... «непротиворечивой логике философов» [28, с. 124]. В противоположность «бинарной логике» Ж. Деррида конституирует «паралогику», «металогику», логику «сверх-колебания», которая не только основана на «полярности», но даже «превышает полярность» [28, с. 126–128]. Движение внутри этой логики «сверх-колебания» не подчинено линейным закономерностям и в силу этого возможные его перспективы не подлежат прогнозу, который в синергетике именуется прогнозом «от наличного»: по словам Ж. Деррида, «в плане становления

...мы не можем претендовать на прочный и устойчивый логос», а то, что в рамках классической терминологии именовалось логосом, носит принципиально игровой характер – «скрывает игру» [28, с. 148–149].

Именно такой *logismo nolho* и фундирует собою постмодернистский стиль мышления. В проблемном поле философского постмодернизма бифуркационный механизм эксплицируется в процессуальности практически всех анализируемых предметностей. Так, в рамках номадологического проекта рассматривается феномен «расхождения» серий сингулярностей. Подобно тому, как в синергетике точка бифуркации понимается в качестве такого значения переменной, при котором происходит ветвление эволюционных возможностей, постмодернизм фиксирует «узловые пункты», «точки расхождения серий», «двусмысленные знаки», дающие начало процедурам ветвления. По Ж. Делезу, «есть условия, необходимым образом включающие в себя «двусмысленные знаки» или случайные точки, т. е. своеобразные распределения сингулярностей, соответствующие отдельным случаям различных решений, например, уравнение конических сечений выражают одно и то же Событие, которое его двусмысленный знак подразделяет на разнообразные события – круг, эллипс, гиперболу, параболу, прямую линию» [23, с. 144]. Это означает, что «несовозможные миры, несмотря на их несовозможность, все же имеют нечто общее – ...двусмысленный знак генетического элемента, в отношении которого несколько миров являются решениями одной и той же проблемы» [23, с. 144].

В контексте предложенной М. Фуко реконструкции истории понимания безумия в классической европейской традиции также могут быть обнаружены аналогичные рассуждения. Так, М. Фуко трактует динамику безумия как реализующуюся посредством «амбивалентности» (собственно, деформация аффективной жизни и понимается М. Фуко как форма, в которой реализует себя эта амбивалентность [45]). Описывая обычай средневековых городов избавляться от безумцев, вверяя их воле волн на утлых челнах, М. Фуко пишет: «безумец ...всесело во власти реки с тысячью ее рукавов, моря с тысячью его путей, ...Он накрепко прикован к открытому во все концы света перекрестку (подчеркнуто нами. – М.М.). Он – Пассажир (Passager) в высшем смысле слова, ...узник перехода (passage)» [45, с. 33].

Важнейшим следствием постмодернистского осмысливания феномена ветвления – так же, как и в синергетике – выступает формирование сугубо плюралистической модели исследуемой реаль-

ности: «сама по себе ризома имеет различные формы, начиная от ее поверхностного ветвящегося расширения и до ее конкретного воплощения» [25, с. 12].

Согласно постмодернистскому видению ситуации, бифуркационный выбор принципиально не подчинен линейному детерминизму. В терминологии Ж. Делеза точка бифуркации открывает веер равновозможных, но «не-совозможных» версий разворачивания событийности, и актуализация той или иной из них («выбор») осуществляется принципиально случайным путем. Разрешение бифуркационной ситуации интерпретируется М. Фуко как реализующееся вне какого бы то ни было внешнего детерминационного воздействия – равно как и вне следования каком бы то ни было имманентной внутренней закономерности («логики») процесса. «Перекрестки бесконечности» трактуются М. Фуко в качестве «великой переменчивости, неподнаделенной ничему» [45, с. 33]; аналогично процессуальность безумия, «чтобы достичь настоящей развязки, не нуждается ни в каких внешних элементах» [45, с. 59]. В нелинейных аналитиках, по Ж. Делезу, речь идет о том, чтобы не только учитывать случайное разветвление, но «разветвлять случай» [23, с. 82]. (Ж. Делез иллюстрирует эту презумпцию словами Х. Л. Борхеса: «число жеребьевок бесконечно. Ни одно решение не является окончательным, все они разветвляются, порождая другие» [17, с. 75]).

Данный момент обретает в постмодернизме и морально-этическое свое измерение: поскольку поворот вектора эволюции в ту или другую сторону объективно случаен, постольку предшествовавшие настоящему моменту (и определившие его событийную специфику) бифуркации снимают с индивида ответственность за совершенные им в этот момент поступки («нет больше Адама-грешника, а есть мир, где Адам согрешил» [23, с. 141]), но налагают на него ответственность за спровоцированные им флуктуации и определяемое ими будущее. Эти выводы постмодернизма практически изоморфны формулируемым синергетикой выводам о «новых отношениях между человеком и природой и между человеком и человеком», когда человек вновь оказывается в центре мироздания и наделяется, по оценке И. Пригожина и И. Стенгерса, новой мерой ответственности за него [38, с. 386].

В текстологической концепции постмодернизма также моделируется бифуркационный по своей природе механизм смыслообразования. Так, Р. Барт, двигаясь в парадигме понимания смысла как результата означивания, полагает, что «важно пока-

зать отправные точки смыслообразования, а не его окончательные результаты» [11, с. 428]. Эти «отправные точки» выступают своего рода «пунктами двусмыслинности» или «двузначностями» текста: «текст ее (tragédie. – M.M.) соткан из двузначных слов, которые каждое из действующих лиц понимает односторонне (в этом постоянном недоразумении и заключается «трагическое»); однако есть и некто, слышащий каждое слово во всей его двойственности, слышащий как бы даже глухоту действующих лиц...; этот «некто» – читатель» [9, с. 390]. Полифония субъективно воспринимается им как какофония, пока в ней не вычленена отдельная (одна из возможных) версий прочтения. По словам Р. Барта, «в каждой узловой точке повествовательной синтагмы ... говорится: если ты поступишь так-то, если ты выберешь такую-то из возможностей, вот это с тобой случится» [12]. Процессуальность данного выбора, по Р. Барту, разворачивается в режиме, который может быть оценен как аналогичный автокатализу: достаточно избрать ту или иную подсказку, как конституируемая ей версия прочтения текста оказывается уже необратимой: «чтобы произвести смысл, человеку оказывается достаточно осуществить выбор» [2, с. 251].

В ситуации семиотической гетерогенности текста это задает своего рода фигуру вторичной бифуркации. Согласно Р. Барту, текст, реализующий себя одновременно во множестве различных культурных кодов, принципиально нестабилен, ибо каждая фраза может относиться к любому коду. Иначе говоря, исходным состоянием текста выступают потенциально возможные различные порядки (упорядочивания текста в конкретных кодах), выбираемые из беспорядка всех всевозможных кодов (ср. «порядок из хаоса» у И. Пригожина и И. Стенгерса). Для текста, таким образом, характерна неконстантная «плавающая микроструктура», итогом которой является «не логический предмет, а ожидание и разрешение ожидания» [11, с. 460]. Это «ожидание» (или «напряженность текста» как аналог синергетической нестабильности) порождается тем обстоятельством, что «одна и та же фраза очень часто отсылает к двум одновременно действующим кодам, притом невозможно решить, какой из них «истинный» [11, с. 461]. Отсутствие «правильного» кода делает различные типы кодирования текста равновозможными, моделируя для читателя ситуацию «неразрешимого выбора между кодами» [11, с. 461].

Идея точек ветвления смысла находит свое наиболее полное развитие в концепции «логики смысла» Ж. Делеза. Исследуя процессы смыслообразования (в частности, при чтении Л. Кэрролла), Ж. Делез

фокусирует внимание на особых (так называемых «эзотерических») словах – «двусмысленных знаках», которые он называет «словами-бумажниками». С одной стороны, эти слова, как правило, являются «синтетическими», т. е. составлены из семантически узнаваемых сколов нескольких (как правило, двух) других слов. Классическим примером является кэрроловский Снарк: Snark как контаминация shark (акула) и snake (змея); аналогичны (в русскоязычной кальке) «злопасный», «шарьки», «хрюкотать», «зелюки», «грызжущий», «прыжествующий» и т. п. Однако «эзотерическое слово с простой функцией сокращения [слов] внутри единичной серии (ваштво) словом-бумажником не является» [23, с. 64]. Принципиальное отличие заключается в том, что «ваштво» (*yourreince*) как сокращенное «ваше высочество» (*Your royal Highness*) подразумевает возможность единственного прочтения, в то время как за «словом-бумажником» стоит не только синтез, но и – обязательно – дизъюнкция, причем дизъюнкция исключающая. Ж. Делез формулирует «общий закон слова-бумажника, согласно которому мы всякий раз извлекаем из такого слова скрытую дизъюнкцию» [23, с. 66].

«Слова-бумажники», по Ж. Делезу, «основаны на строго дизъюнктивном синтезе»: в зависимости от того, как будет прочитано это слово, может распахнуться, подобно отделению бумажника, та или иная серия текстовой семантики, т. е. одна из возможных версий прочтения. Ж. Делез анализирует под этим углом зрения ситуацию, моделируемую Л. Кэрролом: на вопрос «Кто король?», Шеллоу, выбирающий между Ричардом и Уильямом, отвечает «Рильям» [23, с. 66]. Именно посредством «слова-бумажника», по оценке Ж. Делеза, «каждая “вещь” раскрывается навстречу бесконечным предикатам, через которые она проходит, утрачивая свой центр, – то есть свою самотождественность. На смену исключению предикатов приходит коммуникация событий» [23, с. 210]. В ходе этой коммуникации оформляются соответствующие «серии смысла»: «сущности множатся и делятся; все они – плод дизъюнктивного синтеза» [23, с. 215]. Таким образом, «функция слова-бумажника всегда состоит в ветвлении той серии, в которую оно вставлено. Вот почему оно никогда не существует в одиночестве. Оно намекает на другие слова-бумажники, предшествующие ему или следующие за ним и указывающие, что любая серия в принципе раздвоена и способна к дальнейшему раздвоению» [23, с. 66]. «Слова-бумажники» проблематизируют (версифицируют) процесс, они «неотделимы от проблемы, которая разворачивается в ветвлении серии» [23, с. 78], – и «именно функция разветвления и дизъюнктивный синтез дают подлинное определение слову-бумажнику» [23, с. 67].

Аналогичную модель бифуркационного механизма смыслообразования предлагает М. Бютор. Введенное им понятие слова-«переключателя» в системе его терминологии означает фактически то же самое, что и «слово-бумажник» в концепции Ж. Делеза: «каждое из этих слов может действовать как переключатель. Мы можем двигаться от одного слова к другому множеством путей. Отсюда – идея книги, повествующей не просто одну историю, а целый океан историй» [53, с. 12].

В этом отношении «слова-бумажники» и слова-«переключатели» по своему значению в структуре текста выходят далеко за рамки обычных лексем, выступая также своего рода «словами второй степени» [23, с. 90], имеющими для текста не только лексическое, но и квази-грамматическое значение. Наряду с характерными для лексемы функциями, «переключатели» и «слова-бумажники» выполняют в конституировании текстовой семантики также функции бифуркационных узлов, «благодаря которым происходит разветвление существующих серий» [23, с. 67]. (Неслучайно художественная практика постмодерна демонстрирует достаточно широкую реальную распространенность «слов-бумажников» в текстах авторов постмодернистской ориентации, независимо от концептуальной искусшенности последних: например, лексемы с указанной функцией зафиксированы у Вен. Ерофеева: «Шпиноза», «дюдюктический» и мн. др. [41, с. 342]). Характерное для постмодерна видение мира как принципиально плюрального и несущего в себе не-совозможные тенденции прекрасно выражено в смыслообразе лабиринта, лежащего в основе романа У. Эко «Имя розы».

* * *

Таким образом, постмодернистская трактовка книги основана на радикальном переосмыслинии ее как законченного произведения, отнесенного к конкретному автору как источнику ее смысла, – текст рассматривается как принципиально плюральное пространство смыслопорождения, разворачивающегося в рамках последовательного семантического ветвления (бифуркации, вторичной бифуркации и т. д.) и имеющего своим источником читателя как носителя культурных кодов.

Литература

1. Барт, Р. «Писать» – непереходный глагол? / Р. Барт // Arbor Mundi / Мировое древо. Международный журнал по теории и истории мировой культуры. – 1993. – Вып. 2. – С. 83–91.
2. Барт, Р. Воображение знака / Р. Барт / Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – Москва: Прогресс, 1989. – С. 246–252.

3. Барт, Р. Литература и значение / Р. Барт // Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – Москва: Прогресс, 1989. – С. 276–296.
4. Барт, Р. Нулевая степень письма / Р. Барт // Семиотика. – Москва: Радуга, 1983. – С. 21.
5. Барт, Р. От произведения к тексту / Р. Барт // Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – Москва: Прогресс, 1989. – С. 413–423.
6. Барт, Р. Писатели и пишущие // Р. Барт // Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – Москва: Прогресс, 1989. – С. 133–141.
7. Барт, Р. Разделение языков / Р. Барт // Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – Москва: Прогресс, 1989. – С. 519–534.
8. Барт, Р. Семиология как приключение / Р. Барт // Arbor Mundi / Мировое древо. Международный журнал по теории и истории мировой культуры. – 1993. – Вып. 2. – С. 79–83.
9. Барт, Р. Смерть автора / Р. Барт // Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – Москва: Прогресс, 1989. – С. 384–391.
10. Барт, Р. Структурализм как деятельность / Р. Барт // Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – Москва: Прогресс, 1989. – С. 253–261.
11. Барт, Р. Текстовый анализ одной новеллы Эдгара По / Р. Барт // Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – Москва: Прогресс, 1989. – С. 424–461.
12. Барт, Р. Эффект реальности / Р. Барт // Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – Москва: Прогресс, 1989. – С. 395–400.
13. Бодрийяр, Ж. Злой демон образов / Ж. Бодрийяр // Искусство кино. – 1992. – № 10.
14. Бодрийяр, Ж. Симулякры и симуляция / Ж. Бодрийяр // Философия эпохи постмодерна. – Минск: Красико-принт, 1996. – С. 32–47.
15. Бодрийяр, Ж. Система вещей / Ж. Бодрийяр. – Москва: Рудомино, 1995. – 172 с.
16. Борхес, Х. Л. Письмена Бога / Х. Л. Борхес. – Москва: Республика, 1992. – 510 с.
17. Борхес, Х. Л. Работы разных лет / Х. Л. Борхес. – Москва: Радуга, 1989.
18. Бродский, И. Нобелевская лекция / И. Бродский // Стихотворения. – Таллинн: Eesti Raamat: Александра, 1991. – С. 5–18.
19. Вайнштейн, О.Б. Постмодернизм: история или язык? / О. Б. Вайнштейн // Вопросы философии. – 1993. – № 3.
20. Вернан, Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли / Ж.-П. Вернан. – Москва: Прогресс, 1988. – 224 с.
21. Гадамер, Г.-Г. Человек и язык / Г.-Г. Гадмаер // От Я к Другому: сб. переводов по проблемам интерсубъективности, коммуникации, диалога. – Минск: Менск, 1997. – С. 130–141.
22. Голосовкер, Я.Э. Логика мифа / Я. Э. Голосовкер. – Москва: Наука, 1987. – 218 с.

23. Делез Ж. Логика смысла / Ж. Делез. – Москва: Академия, 1995. – 298 с.
24. Делез, Ж. Складчатость или внутренние мысли / Ж. Делез // От Я к Другому: сб. переводов по проблемам интертекстуальности, коммуникации, диалога. – Минск: Менск, 1997. – С. 226–252.
25. Делез, Ж., Гваттари, Ф. Ризома / Ж. Делез, Ф. Гваттари // Философия эпохи постмодерна. – Минск: Красико-принт, 1996. – С. 9–31.
26. Деррида, Ж. Невоздержанное гегельянство / Ж. Деррида // Танатография Эроса. Жорж Батай и французская мысль середины XX века. – СПб.: МИФРИЛ, 1994. – С. 133–173.
27. Деррида, Ж. Позиции / Ж. Деррида. – Киев: Л. Д., 1996. – 192 с.
28. Деррида, Ж. Хора / Ж. Деррида // Социо-Логос постмодернизма. С/Л'97. – Москва: Институт экспериментальной социологии, 1996. – С. 122–170.
29. Джеймисон, Ф. Постмодернизм, или Логика культуры позднего капитализма / Ф. Джеймисон // Философия эпохи постмодерна. – Минск: Красико-принт, 1996. – С. 118–137.
30. Ингарден, Р. Литературное произведение и его конкретизация / Р. Ингарден. Исследования по эстетике. – Москва: Изд-во иностранной литературы, 1963. – 572 с.
31. Ингарден, Р. Музыкальное произведение и вопрос его идентичности / Р. Ингарден // Исследования по эстетике. – Москва: Изд-во иностранной литературы, 1963. – 572 с.
32. Ионеско, Э. Трагедия языка / Э. Ионеско // Как всегда – об авангарде. Антология французского театрального авангарда. – Москва: Союзтеатр: ГИТИС, 1992. – С. 134–138.
33. Кристева, Ю. Бахтин, слово, диалог, роман / Ю. Кристева // Диалог. Карнавал. Хронотоп. – Москва ; Витебск, 1993. – № 4. – С. 5–6.
34. Лакан, Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе / Ж. Лакан // Доклад на Римском конгрессе, читанный в ин-те психологии Римского ун-та 26–27 сент. 1953 г. – Москва: Гнозис, 1995. – 100 с.
35. Лиотар, Ж.-Ф. Заметка о смыслах «пост» / Ж.-Ф. Лиотар // Иностранный язык и литература. – 1994. – № 1.
36. Лиотар, Ж.-Ф. Постмодернистское состояние: доклад о знании / Ж.-Ф. Лиотар // Философия эпохи постмодерна. – Минск: Красико-принт, 1996. – С. 140–158.
37. Можейко, М.А. Ризома / М. А. Можейко // Новейший философский словарь. – Минск: Изд. В. М. Скакун, 1998. – С. 572–573.
38. Пригожин, И., Стенгерс, И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И. Стенгерс. – Москва: Прогресс, 1986. – 431 с.
39. Рубинштейн, Л. Что тут можно сказать... / Л. Рубинштейн // Личное дело № _____. – Москва: Союзтеатр, 1991. – С. 235.

40. Сартр, Ж.-П. Миф и реальность театра / Ж.-П. Сартр // Как всегда – об авангарде. Антология французского театрального авангарда. – Москва: Союзтеатр: ГИТИС, 1992. – С. 94–111.
41. Скоропанова, И.С. Русская постмодернистская литература / И.С. Скоропанова. – Москва: Флинта: Наука, 1999. – 608 с.
42. Топоров, В.Н. Роза / В. Н. Топоров // Мифы народов мира. – Москва : Советская энциклопедия, 1982. – Т. 2. – С. 386–387.
43. Фидлер, Л. Пересекайте рвы, засыпайте границы / Л. Фидлер // Современная западная культурология: самоубийство дискурса. – Москва, 1991.
44. Фуко, М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности / М. Фуко. – Москва: Касталь, 1996. – 447 с.
45. Фуко, М. История безумия в классическую эпоху / М. Фуко. – СПб.: Университетская книга, 1997. – 575 с.
46. Фуко, М. Порядок дискурса / М. Фуко // Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. – Москва: Касталь, 1996. – С. 47–96.
47. Фуко, М. Что такое автор? / М. Фуко // Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. – Москва: Касталь, 1996. – С. 7–46.
48. Atkins, G.D. The Sign as a Structure of Difference: Derridean Deconstruction & Some of Its Implications // Semiotic Themes / ed. by George P. de. – Lawrence, 1998. – № 1.– P. 133–147.
49. Barthes, R. Changer l'object lui-même / R. Barthes // Esprit. – Paris, 1971. – № 4.– P. 613–616.
50. Baudrillard, J. In the Shadow of the Silent Majorities, or The End of the Social Other Essays / J. Baudrillard. – New York: Plenum Press, 1983. – 272 p.
51. Bauman, Z. Intimations of Postmodernity / Z. Bauman. – London; New York: Harvester Wheasheaf, 1994. – 297 p.
52. Best, S., Kellner, D. Post-Modern Theory / S. Best, D. Kellner. – London : Houndsills, 1991. – 321 p.
53. Butor, M. Introduction aux fragments de «Finnegans Wake» / M. Butor. – Paris: Gallimard, 1962. – 122 p.
54. D'haen, T. Postmodernism in American Fiction & Art / T. D'haen // Approaching Postmodernism: Papers press. at a Workshop on Postmodernism, 21–23 Sept. 1984. – Amsterdam; Philadelphia: Univ. of Utrecht Press, 1986. – P. 211–231.
55. Derrida, J. Dissemination / J. Derrida /Translated by Johnson D. – London: Athlone, 1993. – 366 p.
56. Derrida, J. Speech & phenomena & other essays on Husserl's theory of signs / J. Derrida. – Evanston: EHS Press, 1973. – 264 p.
57. Derrida, J. Structure, sign, & play in the human sciences / J. Derrida // The structuralist controversy / ed. by R. Macksey, S. Donato. – Baltimore: John Hopkins Univ. Press, 1972. – P. 250–325.

58. Derrida, J. The supplement of copula: Philosophy before linguistics / J. Derrida // Textual strategies: Perspectives in post-structuralist criticism / ed. & with the introd. by Harari J. – London: Allen & Unwin, 1990. – P. 82–120.
59. Easthope, A. British post-structuralism since 1968 / A. Easthope. – London: Thousand Oaks, 1988. – 255 p.
60. Federman, R. Take It or leave It: An exaggerated second-hand Tale to be read aloud either standing or sitting / R. Federman. – New York: Chapman & Hall, 1976. – 500 p.
61. Foucault, M. An Introduction // M. Foucault // The History of Sexuality. – London: Penguin, 1991. – Vol. 1. – P. 11–27.
62. Harrari, J.V. Introduction / J. V. Harrari // Textual strategies: Perspectives in post-structuralist criticism / ed. with introd. by Harrari J.V. – London: Athlone, 1980. – 475 p.
63. Haraway, D. The Conditions of Postmodernity / D. Haraway. – Oxford: Clarendon Press, 1998. – 380 p.
64. Kristeva, J. Bakhtin, le mot, le dialogue et roman / J. Kristeva // Critique. – Paris, 1967. – № 239 (Vol. 23) – P. 21–49.
65. Kristeva, J. Narration et transformation / J. Kristeva // Semiotica. – Haque, 1969. – № 4. – P. 422–448.
66. Kristeva, J. Revolution in poetic Language / J. Kristeva / translated by M. Waller. – New York : Columbia Univ. Press, 1984. – 578 p.
67. Lacan, J. Ecrits: A selection / J. Lakan. – London: Royal Society Press, 1977. – 338 p.
68. Lacan, J. Le Séminaire. Livre II / J. Lakan. – Paris: Grosset, 1973. – 387 p.
69. Lacan, J. The four fundamental concepts of psycho-analysis / J. Lakan. – London: Macmillan, 1977. – 290 p.
70. Lyon, D. Postmodernity / D. Lyon. – Buckingham: Mass Press, 1994. – 309 p.
71. Man, P. de. Blindness & insight: Essays in the rhetoric or contemporary criticism / P. De Man. – New York: The Viking Press, 1971. – 189 p.
72. Man, P. de. Critical Writings / P. De Man. – Minneapolis: Corona, 1987. – 246 p.
73. Merleau-Ponty, M. Le vision et l'invisible / M. Merleau-Ponty. – Paris: Grosset, 1964. – 274 p.
74. Miller, J.H. Tradition & difference. Review of M.H.Abram's Natural supernatura / J. H. Miller // Diacritics. – Baltimore: John Hopkins Univ. Press, 1972. – Vol. 2, № 2. – P. 9–12.
75. Perrone-Moisés, L. L'intertextualité critique / L. Perrone-Moisés // Poétique. – № 27. – Paris, 1976. – P. 372–384.
76. Rorty, R. The Introduction / Rorty R. // Contingency, Irony & Solidarity. – Cambridge: Cambridge-Mass., 1989. – P. 4–17.

77. Saldivar, R. Figural language in the novel: the flowers of speech from Cervantes to Joyce / R. Saldivar. – Princeton: World-View, 1984. – 267 p.
78. Smart, B. Modern Conditions, Postmodern Controversies / B. Smart. – London ; New York: Harvester Wheasheaf, 1992. – 246 p.
79. Smart, B. Postmodernity. Key Ideals / B. Smart. – London; New York: Ithaca – John Wiley & Sons, 1997. – 169 p.
80. Tadié, J.-Y. La critique littéraire au XX-e siècle / J.-Y. Tadié – Paris: PUF, 1987. – 318 p.
81. The Kristeva reader / ed. by Moi T. – London: Les Editions de Minuit, 1987. – 327 p.
82. Ward, G. Postmodernism / G. Ward. – London ; Chicago: Univ. of Chicago Press, 1997. – 186 p.
83. Vattimo, G. The End of Modernity / G. Vattimo. – Oxford: Clarendon Press, 1991. – 196 p.
84. Williams, R. The Politics of Modernism: Against the New Conformism / R. Williams. – London; New York: Harvester Wheasheaf, 1996. – 227 p.